

## ЧЕТВЁРТАЯ ЗИМА

*Моим бабушке, дедушке и маме посвящаю*

Весна! Наконец-то весна! Ещё немного – и снег совсем растает даже в канавах и лесопосадках. Отступили лютые морозы, отмели бураны и ветры уже не сшибают с ног. Дома-то на Волге морозы помягче были, и зимы покороче. А к сибирским мы так и не привыкли. Ох, зима-зима! Много бед ты наделала...

Теперь дышится легче. И солнце светит ярче, прогревает с каждым днём всё сильнее. Я видела: лебеда проклюнулась, и теперь, возможно, мои девочки не умрут с голоду. Надо, надо, мои хорошие, ещё чуть-чуть потерпеть, собрать последние силы и победить смерть! Господи, помоги нам! Настрадались так, что не только жить – думать сил нет.

Нарву сегодня на солнечной стороне пригорка молодой травки – и с остатками жмыха настряпаю лепёшек, порадую их. Только хворосту надо где-нибудь насобирать...

Такую зиму пережили, страшно вспомнить! Теперь на подножном корме будет легче, и я не дам своим девочкам умереть. Шестерых детушек уже нет, как будто никогда и не было. Как будто я каждого девять месяцев под сердцем не носила и жизнь им не дала.

Господи, слышишь ли ты меня? Не забирай последних троих, они ведь эту нескончаемую зиму с великим трудом одолели! Молю тебя, Господи, дай им силы! В чём только душенька у них держится!

Других детушек уже не вернёшь. Померли. Самые младшие, Анюта и Лиза, ещё в первую военную зиму. Не уберегла я малюточек, а всё холод и голод проклятые. Ох, как страдала я, ночи не спала. Подушка от слёз не просыхала. Теперь всё как в тумане, а они ангелочками меня во сне навещают.

А Андрей, мальчик мой! Он тоже не забывает, снится частенько. Ох, сыночек мой единственный, Андрюша-Андрюша, как же так получилось? Болел ты сильно, был застужен. В горячечном бреду рвал тебя непрерывный кашель, да так, что дыхание останавливалось. А помер во вторую зиму – тихо, ночью во сне.

Вскоре и мужа схоронила. Яков мой директором школы работал. Какой счастливый был, ну просто летал, когда при нём новую школу построили. В Москву его приглашали, наградили за отличное учительство. Ходил всё с толстой папкой в руках. Всякие умные мысли записывал, да свои стихи. Детям в школе стихи любимых поэтов Гёте и Гейне наизусть читал. Вечерком уложу

наших детей спать, подойду к нему, а он меня обнимет и просит новый стих послушать. Над весёлым – посмеёмся всласть, а иногда и мороз по коже пробежит. Хорошие писал стихи, про жизнь. Говорил, чтобы издать сборник, у него нет пока главного стихотворения для вступления, про товарища Сталина. Слов подходящих, правильных, достойных Вождя народов, пока не нашёл. Значит, ещё не состоялся как поэт. Вот и трудился, особенно ночами. Не мешала я ему. Любила и оберегала! Ох-ох!

Его до войны ещё, в тридцать девятом, забрали по доносу анонимному. Не угодил кому-то. Может за зарубежных поэтов и наказали? А может, что про Сталина стихотворения ещё не было? При обыске такой погром устроили! Детей перепугали, в угол загнали. Все рукописи, все книги до последнего детского рисунка сожгли. Жальче всего тетради со стихами. Дорожил Яша ими. Забрали, увели ночью. Ну какой он политический преступник? Детей, школу, жизнь он любил... и нас... Ох-ох!

В тюрьме заболел, работать не мог больше. А в сорок втором отпустили, сказали, чтоб умирать домой ехал. А меня с детьми тогда уже с Волги в Сибирь выселили. Но Яков и тут нас нашёл. Приехал перед смертью повидаться.

Так оно и вышло. По возвращении кровью отхаркивал, кровью мочился, кровью по большой нужде ходил. И трёх недель не пожил с нами.

В день как Яше умереть, домой вернулась старшая дочь Алевтина. Она в городе на военном заводе работала. Увидела отца ещё живым, успела благословения попросить и проститься. А у самой страшная болезнь уже была – туберкулёз в последней стадии. Как только Господь уберёт от этой напасти остальных детей? Не знаю до сих пор.

Я Алевтину больше года не видела, с ней даже наговориться не успела, всё работа, работа в колхозе. Она ни разу не пожаловалась, ничем не выдала, как ей плохо, всё в себе таила. При приступе кашля выбегала на улицу, не разрешала ходить за ней следом. Не хотела нас обременять... А мне подкормить бы её, да нечем...

Через несколько дней после похорон мужа чуть живая пришла я поздно вечером с работы, а девочки встречают меня возле двери, плачут: Алевтина упала на пол и не встаёт... Так вот получилось, что вторая военная зима троих у меня забрала. К этому времени поседела я враз, как снегом голову мою запорошило. Платок сняла, а я вся белая!

А потом Эллочка с Машенькой, хоть и не самые младшенькие деточки мои, а тоже не вынесли голода. Еда – мороженая картошка, собранная поздней осенью в поле, да двести граммов отрубей на всех. Мучились они сильно в прошлую зиму. Сначала Элла умерла, а потом, не успели мои глаза от слёз высохнуть, и Мария ушла следом за сестрёнкой. Да и слава Господу, что призвал их к себе. Мучения девочек закончились. Уж больно худые были – кожа да косточки... Не знала я, как их на руки поднять, чтобы не рассыпались. Как

лежали, в тряпки завёрнутые, так и похоронили. Смотреть было невыносимо. Думала, ума лишусь от горя.

Не смогла помочь собственным детям... Сама, вся от голода опухшая, еле ноги передвигала. Да ещё на работу из последних сил выбиваясь, ходила, чтоб хоть паёк на работника получать. Но потом и я слегла. На распухших ногах, отекавших от голода, кожа полопалась, образовались глубокие раны, да ещё заражение какое-то началось. Ой, какие страдания вынесла! Когда режут ножом по живому, и то не так больно. Думала, не поднимусь больше. Смерти не боялась, лишь бы мучения прекратились. Если б не трое детей, взяла бы грех на душу, наложила бы на себя руки. Но живых детей с собой в могилу не возьмёшь. Уберёт меня Господь, одолела я свою погибель. Спасибо добрым людям, соседке, бабушке Людмиле. Тоже одинокая переселенка, отпоила она меня тогда.

А как похоронили мужа и всех моих детушек? Стыд и срам перед покойниками, врагу не пожелаю так хоронить своих близких. Почему, Господи, ты допускаешь такое? Похоронами назвать нельзя, одно надругательство.

Председатель колхоза Кессель – ох, и жестокий мужик! А ведь из наших он. Ямы нас рыть заставлял. По пятнадцать-двадцать умерших туда скидывали, забрасывали соломой и закапывали. От горя разум свой теряла, даже не помню, в какой яме кто из моих деточек лежит: никто не записывал и не запоминал. Как яма полная, председатель кричит, мол, подождите сдыхать, новую ещё не вырыли. Вот сволочь, хуже лютого зверя. Сам-то ни одного ребёнка не похоронил, не испытал, как это, когда на руках голодной смертью младенец твой умирает, а тебе и дать ему нечего.

У Кесселя детей семеро, так жена его в прошлом году ещё одного родила, и ребёнок выжил. Еды у него в доме всегда в достатке. Измывается над людьми: изнеможенных кнутом бьёт, на работу гонит, а тех, кто не может выполнять его приказы, пайка лишает, говорит, чего на него жратву тратить? Всё равно сдохнет! И не даёт бедняге поесть.

Больше всего ему доставляет удовольствие над женщинами издеваться за горсть ячменя или овса, которую они просят для своих умирающих от голода детей. Он, сильный, сытый, насилует их, мучит непосильным трудом, а зимой выгоняет неугодных на мороз, а сам при этом громко хохочет.

Может, кто и хотел бы на него пожаловаться, так некому... Он для всех и закон, и указ, а дойти пешком до района – никто дороги не осилит.

Да и документы колхозников Кессель при себе держит, а без бумажки ты не человек. И из колхоза не сбежать. Он грозит убить: говорит, что у него револьвер есть. Смеётся, мол, пуля тебя достанет, быстрее пули бегать никто не может. Да и люди мне о каждом доложат, и про себя сами всё расскажут, потому что я – власть. Вот безбожник, греха не боится.

Нет, лучше об этом не думать, обида комом в горле стоит, вдохнуть не могу, боюсь задохнуться. Поплакать бы, да слёз больше нет. Лишь трясёт, постоянно трясёт меня какой-то ледяной дрожью.

В эту зиму, слава Господу, обошлось: никого не похоронила, все мы живы остались. Зато село наше почти опустело: поумирали люди, бывало, на ходу замертво падали. А моим девочкам, Кате и Кларе, коль живы будут, в этом году десять и двенадцать лет исполнится, а Заре – семнадцать. Вот только выглядит она как тринадцатилетняя.

На прошлой неделе из трудовой колонии домой они с соседской Зиной вернулись. В замызганной оборванной фуфайке на голое тело, в дырявых сапогах на босу ногу. С истёртыми в кровь пятками и пальцами. На тощем теле шрамы, ссадины, волдыри и нарывы. На правой руке до половины трёх пальцев нет. Под зубцы пилы попали. Доченька моя, не играть тебе больше на гитаре без пальчиков. Ведь на всех струнных инструментах умела. А теперь... Господи, за что ей это?

Как только они с Зиной живы остались? На лесоповале работали. Да разве ж эта работа для женщин? Они росточком маленькие, как подростки. Попробуй-ка, стоя по колено в болоте, деревья пилить, а потом навверх к сухому месту брёвна вытаскивать. Взрослые мужики не выдерживают, а тут девчонки, дети ещё. Непосильный труд для них. Заболели обе, исхудали совсем. Так их там пожалели, справки выдали, что работать больше не могут, и отправили домой к матерям.

Кессель обрадовался: новая рабочая сила прибыла. Забрал справку, чтобы Зара никуда из колхоза не ушла. Пришлось ей остаться. А силёнок-то у неё нет совсем. Председатель ей так и сказал: «Зара, яма полная. Чтобы туда попасть, заслужить надо. А ты себе место там ещё не заработала. В бригаду пойдёшь, а там видно будет, на что ты годная. Много толку с тебя точно не будет, но яму выкопать успеешь».

...Мать с жалостью посмотрела на исхудавшую и явно больную дочь, впряжённую вместе с ней в повозку с соломой. Вздохнула тяжело и, прервав свои печальные мысли, сказала:

«Доченька, какая же ты худая и бледная. Я знаю, тяжело. Потерпи, родная, уже скоро довезём. Одна ведь я не осилю. Ох, осторожней, не оступись, а то упадёшь. Подняться-то сил уже не хватит. Господи, да когда же эта проклятая война закончится?..»